



ЯЗЫК
СЕМИОТИКА
КУЛЬТУРА



*Анна А. Зализняк,
И. Б. Левонтина,
А. Д. Шмелев*

КОНСТАНТЫ И ПЕРЕМЕННЫЕ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР

*Анна А. Зализняк,
И. Б. Левонтина,
А. Д. Шмелев*

КОНСТАНТЫ И ПЕРЕМЕННЫЕ
РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ
КАРТИНЫ МИРА



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР
МОСКВА 2012

УДК 811.161.1
ББК 81.031
3 55



Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
проект № 11-04-16017

Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д.

3 55 Константы и переменные русской языковой картины мира. — М.:
Языки славянских культур, 2012. — 696 с. — (Язык. Семиотика. Культура).

ISSN 1727-1630

ISBN 8-978-9551-0494-2

Совокупность представлений о мире, заключенных в значении слов и выражений того или иного языка, складывается в единую систему взглядов, которую, сами того не замечая, принимают все носители данного языка. Реконструкции такой системы представлений, заложенной в русском языке, посвящена данная книга.

В книгу вошли работы трех авторов, написанные в период с 1994 по 2009 год, в которых исследуется русская языковая картина мира, ее устойчивые и изменчивые участки. Анализируются изменения, которые претерпели некоторые культурно значимые слова русского языка, в том числе за последние десятилетия. При этом показано, что эти изменения во многом обусловлены изменением той картины мира, которая стоит за языковыми выражениями. Например, в смене оценочного потенциала слов *карьерера*, *амбициозный*, *агрессивный*, в появлении сочетания *успешный человек* отражается изменение отношения к категории успеха.

Статьи объединены в тематические разделы, соответствующие фрагментам русской языковой картины мира. Рассматриваются группы слов, связанных с эмоциональной жизнью человека и человеческими отношениями (*радость, любовь, разлука, надрыв, общение, отношения, чувства, эмоции, дружба*), с речевыми действиями (*льстить, вранье, вздор, остроумие*), с волей и памятью (*собираться, постараться, помнить, забыть*), с нравственными ценностями (*добро, счастье, справедливость, терпимость*), с концептуализацией пространства (*уют, простор, широта, добираться*), с представлением о неконтролируемости хода вещей (*довелось, вышло, сложилось, угораздило*) и др. Анализируются универсальные и лингвоспецифические, константные и переменные признаки заключенных в этих словах концептов.

Книга предназначена для лингвистов, переводчиков, историков, культурологов, а также для широкого круга читателей, интересующихся русским языком и русской культурой.

ББК 81.031

*В оформлении переплета использована картина К. С. Петрова-Водкина
«1918 год в Петрограде (Петроградская мадонна)»*

ISBN 8-978-9551-0494-2

© Авторы, 2012

© Языки славянских культур, 2012

Электронная версия данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	9
От авторов.....	11

Часть 1 КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

Вместо введения

<i>А. Д. Шмелев.</i> Можно ли понять русскую культуру через ключевые слова русского языка?	17
---	----

Пространство и время

<i>А. Д. Шмелев.</i> Широта русской души.....	24
<i>И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев.</i> Родные просторы.....	35
<i>Анна А. Зализняк.</i> Преодоление пространства в русской языковой картине мира.....	45
<i>Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев.</i> Время суток и виды деятельности.....	57
<i>А. Д. Шмелев.</i> В поисках мира и лада.....	66

Человек: душа и тело

<i>А. Д. Шмелев.</i> <i>Дух, душа и тело</i> в свете данных русского языка.....	83
<i>Анна А. Зализняк.</i> <i>Счастье и наслаждение</i> в русской языковой картине мира	99
<i>Анна А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев.</i> О пошлости и прозе жизни... 117	

Чувства и отношения

<i>Анна А. Зализняк, И. Б. Левонтина.</i> С любимыми не расставайтесь.....	139
<i>И. Б. Левонтина.</i> Милый, дорогой, любимый... ..	149
<i>И. Б. Левонтина.</i> «Достоевский надрыв»	157
<i>Анна А. Зализняк.</i> Заметки о словах: <i>общение, отношение,</i> <i>просьба, чувство, эмоция</i>	167
<i>А. Д. Шмелев.</i> <i>Дружба</i> в русской языковой картине мира.....	175

Намерения и дела

<i>Анна А. Зализняк, И. Б. Левонтина.</i> Отражение «национального характера» в лексике русского языка	187
<i>И. Б. Левонтина.</i> Номо ригер	211
<i>И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев.</i> Русское «заодно» как выражение жизненной позиции.....	219

Этические концепты

<i>И. Б. Левонтина.</i> Звездное небо над головой.....	223
<i>И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев.</i> Поперечный кус	227
<i>И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев.</i> За справедливостью пустой.....	230
<i>Анна А. Зализняк.</i> О семантике щепетильности (<i>обидно, совестно</i> и <i>неудобно</i> на фоне русской языковой картины мира)	242
<i>А. Д. Шмелев.</i> Плюрализм этических систем в свете языковых данных	259
<i>А. Д. Шмелев.</i> Терпимость в русской языковой картине мира	268
<i>Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев.</i> Компактность vs. рассеяние в метафорическом пространстве русского языка	278

Вместо заключения

<i>А. Д. Шмелев.</i> Сквозные мотивы русской языковой картины мира	286
--	-----

Часть 2

ЯЗЫКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И КАРТИНА МИРА

Вместо введения

<i>Анна А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев.</i> Эволюция ключевых концептов русского языка в XX и XXI веке: аспекты изучения	299
<i>А. Д. Шмелев.</i> «Языковая картина мира» и «картина мира текста»: точки взаимодействия	306

Прошлое и настоящее

<i>И. Б. Левонтина.</i> Откуда есть пошла русская душа	313
<i>Анна А. Зализняк.</i> Об эффекте ближней семантической эволюции	323
<i>Анна А. Зализняк.</i> Константы и переменные семантики глагола <i>отдыхать</i>	337
<i>И. Б. Левонтина.</i> Nominem quaero.....	354
<i>И. Б. Левонтина.</i> К истории слова <i>субъект</i> в русском языке.....	366
<i>Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев.</i> <i>Вздор</i> : слово и дело.....	379
<i>Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев.</i> <i>Льстить</i> : семантическая эволюция и актуальная полисемия	388

Русский лексикон в европейской перспективе

<i>А. Д. Шмелев.</i> Русский взгляд на «западные» концепты: языковые данные	395
<i>Анна А. Зализняк.</i> Русские культурные концепты в европейской лингвистической перспективе: слово <i>проблема</i>	410
<i>Анна А. Зализняк.</i> Юмор и остроумие в европейской культурной перспективе ...	419
<i>И. Б. Левонтина.</i> «Особые события» в современном русском языке	428
<i>Анна А. Зализняк.</i> Общение между людьми в межкультурной перспективе: <i>гости vs. party</i>	436
<i>Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев.</i> Как мы проводим дни и ночи	448

Константы

<i>А. Д. Шмелев.</i> Язык любви	457
<i>Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев.</i> Лексика радости	462
<i>А. Д. Шмелев.</i> Семантика печали	471
<i>Анна А. Зализняк.</i> Концептуализация памяти и забвения в русском языке	485
<i>А. Д. Шмелев.</i> Враньё в русской наивной этике	506
<i>А. Д. Шмелев.</i> Смех и улыбки в русской языковой картине мира	518
<i>А. Д. Шмелев.</i> Игра в русской языковой картине мира	529

Настоящее и будущее

<i>А. Д. Шмелев.</i> Эволюция русской языковой картины мира в советскую и постсоветскую эпоху	537
<i>И. Б. Левонтина.</i> Заимствования в современном русском языке и динамика русской языковой картины мира	550
<i>И. Б. Левонтина.</i> Язык потребления	565
<i>И. Б. Левонтина.</i> Гламурная фея	572
<i>А. Д. Шмелев.</i> В поисках общего языка	582
<i>А. Д. Шмелев.</i> Хохма	595

Вместо заключения

<i>А. Д. Шмелев.</i> О новомосковской школе концептуального анализа	610
<i>Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев.</i> О пользе лингвистики для других наук	621

Приложение

<i>А. Вежбицкая.</i> Имеет ли смысл говорить о «русской языковой картине мира»? (Патрик Серию утверждает, что нет)	624
<i>А. Д. Шмелев.</i> Допустимо ли изучать русский язык?	637
Литература	657
Указатель лексем	682

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга основана на статьях, написанных авторами в период с 1994 по 2010 г.

В первую часть вошла основная часть нашей книги, которая была издана в 2005 г. и посвящена обсуждению ключевых идей русской языковой картины мира и выражающим их словам¹. Мы обращали внимание на то, что в каждом языке есть свои особые концептуальные конфигурации, которые закрепляются в значении языковых единиц и принимаются говорящими на данном языке как нечто само собой разумеющееся. Такие единицы с трудом поддаются переводу. При этом уже тогда мы отмечали, что языковая концептуализация мира включает в себя не только константы, но и переменные, она подвержена социальному и региональному варьированию и изменяется во времени. По этому мы в основном ориентировались на речь москвичей — носителей литературного языка.

В дальнейшем мы стали в большей степени уделять внимание тому, как менялась языковая концептуализация мира параллельно изменениям в жизни общества. Соответственно, во второй части больший акцент делается на происходящих в русском языке семантических сдвигах и их влиянии на эволюцию языковой картины мира.

Как в первой, так и во второй части книги мы систематически сопоставляем отдельные фрагменты русской языковой концептуализации с соответствующими фрагментами концептуализации мира в некоторых других языках. Это представляется особенно важным, поскольку различие в концептуализации действительности, на которую опирается значение близких по значению слов разных языков, иногда бывает столь существенным, что это может всерьез затруднять коммуникацию и даже приводить к коммуникативным провалам. Поэтому сопоставительное изучение особенностей концептуализации мира разных языков и выявление в них лингвоспецифичных конфигураций должно способствовать успешной межкультурной коммуникации.

¹ См.: Анна А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. «Ключевые идеи русской языковой картины мира». М.: Языки славянской культуры, 2005. В настоящем издании по техническим причинам не воспроизведены следующие статьи: А. Д. Шмелев. Лексический состав русского языка как отражение «русской души»; Анна А. Зализняк. *Любовь и сочувствие*: к проблеме универсальности чувств и переводимости их имен; А. Д. Шмелев, И. Б. Левонтина. Хорошо сидим! (Лексика начала и конца трапезы в русском языке); И. Б. Левонтина. Помилосердствуйте, братцы!; А. Д. Шмелев. Некоторые тенденции семантического развития русских дискурсивных слов (на всякий случай, если что, вдруг), а также Приложение. Кроме того, некоторые статьи печатаются в сокращении.

Необходимо понимать, что хотя язык навязывает носителю определенную картину мира, человек не является ее рабом. Эксплицировав соответствующие представления в рамках метаязыковой рефлексии, говорящий имеет возможность подвергнуть их сомнению. В этом отношении лингвистический анализ способствует критическому осмыслению априорных представлений, заложенных в значении языковых единиц.

ОТ АВТОРОВ

Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и устройства мира, или языковую картину мира. Совокупность представлений о мире, заключенных в значении разных слов и выражений данного языка, складывается в некую единую систему взглядов и предписаний, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка¹.

Почему это так — почему говорящий на данном языке должен обязательно разделять эти взгляды? Потому что представления, формирующие картину мира, входят в значения слов в неявном виде, так что человек принимает их на веру, не задумываясь. Иначе говоря, пользуясь словами, содержащими неявные смыслы, человек, сам того не замечая, принимает и заключенный в них взгляд на мир. Напротив того, смысловые компоненты, которые входят в значение слов и выражений в форме непосредственных утверждений, могут быть предметом спора между разными носителями языка и тем самым не входят в общий фонд представлений, формирующих языковую картину мира. Так, из русской пословицы *Любовь зла, полюбишь и козла* нельзя сделать никаких выводов о месте любви в русской языковой картине мира, а можно лишь заключить, что *козел* предстает в ней как малосимпатичное существо.

Владение языком предполагает владение концептуализацией мира, отраженной в этом языке. Поскольку конфигурации идей, заключенные в значении слов родного языка, воспринимаются говорящим как нечто само собой разумеющееся, у него возникает иллюзия, что так вообще устроена жизнь. Но при сопоставлении разных языковых картин мира обнаруживаются значительные расхождения между ними, причем иногда весьма нетривиальные.

Так, носителям русского языка кажется очевидным, что психическая жизнь человека подразделяется на интеллектуальную и эмоциональную, причем интеллектуальная жизнь связана с *головой*, а эмоциональная — с *сердцем*. Мы говорим, что у кого-то *светлая голова* или *доброе сердце*; запоминая что-либо, *храним это в голове*, а *чувствуем сердцем*; переволновавшись, хватаемся за *сердце*. Нам кажется, что иначе и быть не может, и мы с удивлением узнаем, что для носителей некоторых африканских языков вся психическая жизнь может концентрироваться в печени, так что они говорят о том, что у кого-то «умная печень» или «добрая печень», а когда волнуются, чувствуют дискомфорт в печени. Разу-

¹ См.: Ю. Д. Апресян. Образ человека по данным языка // Вопросы языкознания. 1995. № 1.

меется, это связано не с особенностями их анатомии, а с языковой картиной мира, к которой они привыкли.

Языковая картина мира формируется системой ключевых концептов и связывающих их инвариантных ключевых идей (так как дают «ключ» к ее пониманию). Ключевые для русской языковой картины мира концепты заключены в таких словах как *душа, судьба, тоска, счастье, разлука, справедливость* (сами эти слова тоже могут быть названы ключевыми для русской языковой картины мира). Такие слова являются лингвоспецифичными (*language-specific*) — в том смысле, что для них трудно найти лексические аналоги в других языках. Наряду с такими культурно-значимыми словами-концептами к числу лингвоспецифичных относятся также любые слова, в значение которых входит какая-то важная именно для данного языка (т. е. ключевая) идея. Таковы, в частности, слова *собираться, добираться* (куда-то), *постараться* (что-то сделать); *сложилось, довелось; обида, попрек; заодно* и др. То, что некоторая идея является для данного языка ключевой, подтверждается, с одной стороны, тем, что эта же идея повторяется в значении других слов и выражений, а также иногда синтаксических конструкций и даже словообразовательных моделей, а с другой стороны — тем, что именно эти слова хуже других переводятся на иностранные языки. Заметим, что их переводные аналоги не являются подлинными эквивалентами именно ввиду отсутствия в их значении этих специфичных для данного языка идей. При этом часто в языке наряду с лингвоспецифичным словом имеется его «нейтральный» синоним — и он достаточно точно переводится на другие языки. Так, например, в русском языке имеются почти синонимы *собираться* и *намереваться* (нечто сделать). Первый является лингвоспецифичным и труднопереводимым, второй — нет. Аналогично устроены пары *постараться* и *пытаться* (нечто сделать), *стыдно* и *совестно, жалко* и *обидно* (уезжать).

Ключевыми идеями, или сквозными мотивами, для русской языковой картины мира являются, в частности, следующие (в скобках указаны слова и выражения русского языка, в которых они отражены; большинство из них анализируются в книге):

1. Идея непредсказуемости мира (*а вдруг, на всякий случай, если что, авось; собираюсь, стараюсь; угораздило; добираться; счастье*).

2. Представление, что главное — это собраться (чтобы что-то сделать, необходимо мобилизовать свои внутренние ресурсы, а это трудно) (*собираться, заодно*).

3. Представление о том, что для того, чтобы человеку было хорошо внутри, ему необходимо большое пространство снаружи; однако, если это пространство необжитое, то это тоже создает внутренний дискомфорт (*удаль, воля, раздолье, размах, ширь, широта души, маяться, неприкаянный, добираться*).

4. Внимание к нюансам человеческих отношений (*общение, отношения, попрек, обида, родной, разлука, соскучиться*).

5. Идея справедливости (*справедливость, правда, обида*).

6. Оппозиция «высокое — низкое» (*быт — бытие, истина — правда, долг — обязанность, добро — благо, радость — удовольствие; счастье*).

7. Идея, что хорошо, когда другие люди знают, что человек чувствует (*искренний, хохотать, душа нараспашку*).

8. Идея, что плохо, когда человек действует из соображений практической выгоды (*расчетливый, мелочный, удаль, размах*).

* * *

В первую часть книги вошли статьи о русской языковой картине мира, написанные нами в период с 1994 по 2003 г. Идеино и методологически эти исследования в значительной степени восходят к работам Анны Вежбицкой, посвященным выявлению и описанию лингвоспецифичных слов разных языков, в том числе русского (при этом некоторые проблемы и понятия разрабатывались нами параллельно). В частности, непосредственным импульсом для написания одной из первых статей публикуемой серии, определившей исследовательские интересы авторов в последующие годы и позволившей говорить о возникновении особого направления исследований, явилась рецензия на книгу А. Вежбицкой «*Semantics, Culture, and Cognition*», 1992 г., заказанная журналом «*Russian linguistics*» в 1994 г. и опубликованная в нем в 1996 (см. статью Анны А. Зализняк и И. Б. Левонтиной «Отражение “национального характера” в лексике русского языка»). В этой статье была выявлена и описана группа русских слов, заключающих в себе специфические концептуальные конфигурации, содержание которых может быть поставлено в соответствие некоторым расхожими представлениям о «русском характере» (это такие слова как *собираюсь, постараюсь, не вышло, не сложилось* и др.).

В 1993 г. А. Д. Шмелев прочел в университете г. Тампере (Финляндия) курс «Ключевые концепты русской культуры» (книга Вежбицкой к тому времени уже вышла, но до Москвы еще не дошла); в 1994 аналогичный курс (под названием «Ключевые концепты русской языковой картины мира») был им прочитан в Вене. В том же году была написана статья Анны А. Зализняк о лингвоспецифичных и универсальных особенностях концептов *любовь* и *сочувствие*, предназначенная для юбилейного сборника Анны Вежбицкой и выполненная в русле проблематики универсальности vs. лингвоспецифичности эмоций, разрабатываемой Вежбицкой в той же книге 1992 г. (замысел этой работы подробно обсуждался с А. Д. Шмелевым). В марте 1994 А. Д. Шмелев сделал доклад о ключевых концептах русской языковой картины мира на Максимовских чтениях в Москве, после чего журнал «Русский язык в школе» заказал ему статью, которая была опубликована под названием «Лексический состав русского языка как отражение “русской души”» (в 4-м номере этого журнала за 1996 г.). В этой статье были обозначены основные пласты лингвоспецифичной лексики русского языка и намечены пути дальнейших исследований в этом направлении. Поразительное совпадение во времени с заказом рецензии на книгу А. Вежбицкой, сделанным другим изданием и в другой стране, так же, как содержательное сходство независимо возникших названий этих двух работ, — убедительное свидетельство того, что эта идея в тот момент «носилась в воздухе».

Впоследствии авторы объединили свои усилия; постепенно круг исследуемых слов стал расти, между разными словами стали обнаруживаться регулярные связи, была выработана определенная методология. На сегодня состояние исследований в данной области таково, что можно говорить о реконструкции русской языковой картины мира в ее целостности². Одновременно восстановление русской языковой картины мира вошло в широкий круг современных исследований в области лингвокультурологии и межкультурной коммуникации.

При этом следует отметить, что многие из наших работ, посвященных реконструкции русской языковой концептуализации мира, были опубликованы в труднодоступных изданиях. Поэтому нам представляется целесообразным собрать их вместе, чтобы дать читателям представление о современном состоянии наших изысканий в данной области (некоторые статьи написаны или переработаны специально для настоящего сборника).

Статьи, собранные в данной книге, объединены общностью наиболее важных методологических установок; при этом они различаются по жанру и стилю; имеются некоторые расхождения и в используемом метаязыке. Статьи объединены в тематические разделы, соответствующие фрагментам русской языковой картины мира.

В качестве приложения к сборнику публикуется (с согласия автора) статья А. Вежбицкой. Эта публикация призвана продемонстрировать как сходства нашего подхода с подходом А. Вежбицкой, разрабатываемым в русле теории «естественного семантического метаязыка», так и определенные различия.

В заключение подчеркнем, что главным действующим лицом этой книги является русский язык. Наша задача — обнаружить те представления о мире, стереотипы поведения и психических реакций, которые русский язык навязывает говорящему на нем, т. е. заставляет видеть мир, думать и чувствовать именно так, а не иначе. Никаких выводов относительно свойств «русской души», «русского национального характера» и т. п. мы не делаем, хотя и используем в нашем анализе соответствующие концепты — как общие места русского бытового, философского, научного и т. д. дискурса³.

Анна Зализняк, Ирина Левонтина, Алексей Шмелев

² Некоторые шаги в этом направлении были предприняты в книге [Шмелев 2002].

³ Наши исследования в области русской языковой картины мира поддерживались Центрально-Европейским университетом (проект А. Д. Шмелева «Русская языковая модель мира» в 1995—1997 гг. и проект И. Б. Левонтиной и Анны А. Зализняк «Человеческие эмоции в представлении русского языка» в 1997—1999 гг.). Данная книга была подготовлена к печати при поддержке РФФИ (проект «Лингвоспецифические слова русского языка и особенности русской языковой картины мира», руководитель А. Д. Шмелев, 2001—2003 гг.) и РГНФ (проект «Константы и переменные русской языковой концептуализации мира», руководитель А. Д. Шмелев, 2001—2003 гг.).

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

А. Д. Шмелев

МОЖНО ЛИ ПОНЯТЬ РУССКУЮ КУЛЬТУРУ ЧЕРЕЗ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА РУССКОГО ЯЗЫКА?*

Само по себе название данной статьи (отсылающее к известной книге А. Вежбицкой «*Understanding Cultures through Their Key Words*» [Wierzbicka 1997]) может ввести в заблуждение. Может показаться, что речь идет о каком-то заранее заданном множестве «ключевых» слов языка, относительно которых и ставится вопрос: не могут ли они способствовать пониманию культуры? Тогда неизбежно возникнет вопрос, как выявляется это множество и на каком основании мы относим то или иное слово к «ключевым».

На самом деле само понятие «ключевого» слова уже содержит в себе положительный ответ на заданный в заглавии вопрос. Можно считать лексическую единицу некоторого языка «ключевой», если она может служить своего рода ключом к пониманию каких-то важных особенностей культуры народа, пользующегося данным языком. Поэтому исходный вопрос можно было бы переформулировать так: могут ли лексические единицы русского языка быть ключом к пониманию русской культуры?

Здесь существенна еще одна оговорка. Речь, разумеется, не идет о понимании русской культуры во всей ее целостности. Так, важной составной частью русской культуры является, например, русский балет, но едва ли анализ лексической семантики русского языка даст нам ключ к пониманию каких-то его существенных характеристик. Речь должна идти о каких-то представлениях о мире, свойственных носителям русского языка и русской культуры и воспринимаемых ими как нечто самоочевидное. Эти представления находят отражение в семантике языковых единиц, так что, овладевая языком и, в частности, значением слов, носитель языка одновременно сживается с этими представлениями, а будучи свойственными (или хотя бы привычными) всем носителям языка, они оказываются определяющими для ряда особенностей культуры, пользующейся этим языком.

Такое представление о языковой концептуализации мира, специфичной для каждого отдельного языка и находящей отражение в особенностях пользующейся этим языком культуры, восходит к идеям Гумбольдта, получившим свое крайнее выражение в рамках знаменитой гипотезы Сепира — Уорфа. Но не случайно именно в настоящее время эти идеи вновь обретают популярность. Современные

* Опубликовано в журнале «Мир русского слова». 2000. № 4.

методы изучения лексической семантики и результаты, полученные при их применении к материалу русского языка, показывают, что значение большого числа лексических единиц (в том числе и тех, которые на первый взгляд кажутся имеющими переводные эквиваленты в других языках) включает в себя лингво-специфичные конфигурации идей. При этом нередко обнаруживается, что эти конфигурации смыслов соответствуют каким-то представлениям, которые традиционно принято считать характерными именно для «русского» взгляда на мир. В других случаях лексико-семантический анализ позволяет уточнить выводы этнокультурологов, полученные без привлечения лингвистических данных.

Сказанное можно иллюстрировать на примере русских слов, служащих для обозначения времени суток: *утро, день, вечер, ночь*. На первый взгляд, для каждого из них можно найти более или менее точный эквивалент в основных западных языках (напр., для слова *утро* — англ. *morning*, франц. *matin*, нем. *Morgen* и т. д.). Однако, как мы попытались показать в [Зализняк, Шмелев 1997], эквивалентность для названий частей суток оказывается в значительной степени мнимой, поскольку в основе членения суток на периоды для русского языка кладутся несколько иные принципы, нежели для западных языков. При этом указанные различия могут быть связаны с расхожим представлением, согласно которому русские обращаются с временем в целом более вольно, нежели жители Западной Европы.

В западном представлении членение суток на периоды зависит от «объективного» времени, показаний часов, и сутки структурируются в первую очередь полночью и полуднем; при этом полдень имеет большее значение, поскольку структурирует самую важную часть суток — время, предназначенное для работы (рабочий день). Не случайно в западных языках есть специальное слово для обозначения второй половины рабочего дня, наступающей после полудня, и связанного с полуднем обеденного перерыва (ср. англ. *afternoon*, франц. *après-midi*, нем. *Nachmittag*, итал. *pomeriggio*). В русском представлении концептуализация времени суток в большей степени зависит от того, что человек делает в период времени, о котором идет речь (в западном представлении дело обстоит, скорее, противоположным образом: взглянув на часы и определив время суток, человек знает, что ему надлежит делать). Так, если в западных языках ‘утро’ концептуализуется как часть суток, предшествующая полудню, то для русских *утро* — это, скорее, время, когда человек уже проснулся и занимается приготовлением к основной дневной деятельности (умывается, одевается, завтракает), но еще не приступил к ней. Такое представление находит отражение даже в произведениях массовой культуры. Ср.: *У Павла Добрынина было выработанное годами твердое правило: никогда не оставаться у женщины до утра. Понятие «утро» в его представлении не связывалось с каким-то определенным положением стрелки на часах. Главным критерием была утренняя атрибутика: умывание, разговоры, совместный завтрак, одним словом — все, что так или иначе напоминало семейный уклад. Даже если он просыпался в чужой постели в десять утра, он не-*

медленно одевался и уходил. Так ему было проще (Александра Маринина. «Игра на чужом поле»).

Указанное различие в концептуализации членения суток проявляется в целом ряде языковых фактов. Так, бросаются в глаза различия при обозначении точного времени. В западной традиции в основе такого обозначения лежит полдень; соответственно, различают, например, пять часов до полудня (*a.m.*, т. е. *ante meridiem*) и пять часов пополудни (*p.m.*, т. е. *post meridiem*). При этом, поскольку время до полудня концептуализуется как 'утро', пять часов до полудня иначе могут быть названы «пять часов утра». Такое обозначение не является чем-то удивительным и для носителя русского языка; однако его может удивить то, что в западных языках можно говорить и о двух часах, и даже о часе утра (ср. англ. *one, two in the morning*, франц. *une heure, deux heures du matin*). Ведь для носителя русского языка *утро* — это когда человек просыпается, а если человек в час ночи или в два ночи не спит, это, скорее, означает то, что он еще не лег, а не то, что он уже проснулся и собирается приступать к дневной деятельности. Конечно, в четыре часа утра тоже встанут относительно немногие, однако необходимость вставать столь рано возникает у представителей целого ряда социальных и профессиональных групп и не воспринимается в культуре как отклонение от нормы, что и дает основание использовать здесь слово *утро*. А для носителей западных языков 'утро' — это время до полудня, и потому два часа до полудня (*ante meridiem*) — это то же самое, что «два часа утра».

Сказанное не означает, что носители западных языков воспринимают час или два пополудни как 'утро'. Лишь при обозначении точного времени достаточным оказывается бинарное членение суток: время до и после полудня. Когда же речь идет о времени суток как таковом, еще более существенно отграничение рабочего дня и периода, предназначенного для отдыха и сна ('вечера' и 'ночи'). Рабочий день, как уже говорилось структурируется полуднем. Первая часть рабочего дня (до полудня) концептуализуется как 'утро', в полдень предполагается обеденный перерыв, после чего наступает вторая часть рабочего дня — «послеполуденное время». По окончании рабочего дня наступает вечерне-ночной период, причем 'вечер' не вполне четко отделяется от 'ночи' (многие западные словари определяют 'вечер' как первую часть 'ночи') и соотношение 'вечера' и 'ночи' в разных западных языках понимается несколько по-разному (в целом можно сказать, что первая часть 'ночи' — 'вечер' — предназначена для развлечений, а вторая часть — собственно 'ночь' — для сна).

В русской языковой картине мира представление о членении суток схоже с западным лишь отчасти. Оно может быть кратко охарактеризовано следующим образом. Сутки можно подразделить на *день*, когда осуществляется дневная деятельность, и *ночь*, представляющую собою «провал», перерыв в деятельности, когда люди спят. *День* не имеет четких границ. Когда человек пробуждается от ночного сна, наступает *утро*, представляющее собою подготовку к дневной деятельности. Когда дневная деятельность (работа) заканчивается, наступает *вечер*, который длит-

ся до тех пор, пока люди не ложатся спать (тогда наступает *ночь*). Обычно переход от сна к дневной деятельности занимает меньше времени, чем период после окончания работы до отхода ко сну, так что *утро* имеет меньшую продолжительность, нежели *вечер*. Поэтому бывает так, что люди задумываются, как бы *скоротать вечер*, но гораздо более сомнительна ситуация, когда надо [?]*скоротать утро*.

Разумеется, описанная картина весьма схематична. Отдельно взятый человек может *писать статью всю ночь*, и от этого *ночь* не становится *днем*. Но это значит, что он пишет свою статью в то время, когда другие люди спят. Если кто-то засиделся в гостях *до утра*, то *утро* наступает своим чередом, хотя для данного человека (как и для хозяев) оно не предполагает пробуждения после ночного сна; но это означает, что человек просидел в гостях до того времени, когда мог наблюдать или предполагать, что уже просыпаются другие люди и вокруг возобновляется жизнь (подробнее о концептуализации времени суток в русском языке и ее зависимости от человеческой деятельности см. [Зализняк, Шмелев 1997]).

Как видно из сказанного, ярче всего различия между «западными» и «русскими» представлениями о членении суток проявляются в концептуализации ‘утра’. Для носителя западных представлений ‘утро’ противопоставляется «послеполудню» как первая половина рабочего дня (до обеденного перерыва) второй половине (после обеденного перерыва). Для носителя русских представлений *утро* противопоставляется *вечеру* как период перед началом рабочего дня периоду после окончания рабочего дня. Указанное соотношение сохраняется и при метонимически сдвинутых употреблении слов *утро* и *вечер*. Если мы хотим обозначить первую половину рабочего дня как «утро», вторая автоматически получает обозначение «вечер» (а не «послеполуденный период»). Так, о враче в поликлинике, принимающем пациентов по четным числам с 10 утра до 2-х дня, а по нечетным — с 2-х дня до 6-и вечера, говорят, что он ведет прием *по четным утром, а по нечетным — вечером*. Характерно также использование выражений *утреннее заседание* и *вечернее заседание* в программе научных конференций: *утреннее заседание* — это просто заседание до обеденного перерыва, а *вечернее заседание* — заседание после обеденного перерыва. В западных языках в таких случаях говорят об «утреннем» и «послеполуденном» заседании (ср. французское *séance du matin* и *séance de l'après-midi*). Поэтому, когда в программе Всероссийской конференции «Русский язык на рубеже тысячелетий», проходившей 26—27 октября 2000 г. в Петербурге, указывалось: *1 день, 26 октября — утреннее заседание (12.00—14.00)... — вечернее заседание (15.00—18.00)*, — то с «западной точки зрения» казалось странным как то, что «утреннее» заседание началось только в полдень (а реально оно началось только в час дня), так и то, что сразу после обеда, в три часа пополудни началось «вечернее» заседание.

Не случайным оказывается и обилие в русском языке наречий и наречных выражений с общим значением ‘утром’ (*утром, утречком, под утро, с утра, с утречка, с утреча, поутру, наутро* и т. д.). Выбор наиболее подходящего из них осуществляется говорящим в зависимости от того, чем субъект описываемой си-

туации занимался до и собирается заниматься после наступления периода времени, который говорящий концептуализует как 'утро' (см. [Зализняк, Шмелев 1997]).

Различия в концептуализации времени суток в западных языках и в русском языке проявляются и в употреблении этикетных формул. В [Зализняк, Шмелев 1997] мы уже отмечали некоторую неуместность (с точки зрения русского речевого стандарта) приветствия *Доброе утро!*, с которым западные слависты, даже хорошо знающие русский язык, обращаются к своим русским коллегам, встречая их на работе в первую половину дня (до обеденного перерыва). В русском узусе приветствие *Доброе утро!* уместно только непосредственно после пробуждения, пока участники коммуникации еще не приступили к своей дневной деятельности. Можно упомянуть также пожелание *Хорошего вам дня*, которое некоторые продавцы магазинов стали в последнее время использовать в качестве формулы прощания с покупателем. Чувствуется, что эта формула звучит по-русски не вполне естественно. Выступая на конференции «Русский язык на рубеже тысячелетий», С. Г. Тер-Минасова справедливо связала распространение этой формулы с влиянием западных языков. Действительно, она звучит как калька, напр., французского *Bonne journée!*, произносимого в том случае, когда прощание с клиентом происходит в течение первой половины дня (во второй половине дня скорее будет сказано *Bonne soirée!* 'Хорошего вечера'). Но возникает вопрос: а как же следует сказать по-русски, какая формула была бы приемлема? Совсем нелепо звучала бы формула *Имейте хороший день* или *Имейте приятный день* — буквальная калька английских формул *Have a good day* и *Have a nice day*. Но даже, казалось бы, вполне идиоматичный перевод *Желаю вам приятно провести день* с точки зрения русских речевых навыков представляется именно переводом иноязычной формулы, отклоняющимся от русского речевого стандарта. По-русски гораздо более естественно звучала бы формула прощания, в которой добрые пожелания высказываются без конкретизации времени суток, напр. *Всего хорошего* или *Всего доброго*. И, как кажется, дело здесь также в различиях в концептуализации времени суток. Для того чтобы выбрать подходящую формулу, носитель западного языка должен просто прикинуть, который час. Если дело происходит в течение первой половины дня, уместно пожелать 'хорошего дня'; если в течение второй половины — 'хорошего вечера' (пожелание дается на будущее). Для носителя русского языка дело обстоит несколько иначе. Включение в формулу указания на время суток может восприниматься как неуместное вторжение в частную жизнь адресата, поскольку подразумевает гипотезу о том, чем адресат собирается заниматься в ближайшее время: формула *Хорошего дня* воспринимается как пожелание успехов в дневной деятельности, а *Желаю вам приятно провести вечер* неявно включает предположение, что адресат речи предполагает идти развлекаться (и уж совсем неуместной в устах продавца была бы обращенная к клиенту формула *Желаю вам приятно провести ночь*, являющаяся всего-навсего переводом английской формулы *Have a good night*, используемой при прощании с клиентом в конце рабочего дня).

Такого рода наблюдения могут рассматриваться как свидетельство того, что особенности концептуализации времени суток в разных языках влияют на употребление соответствующих слов, в результате чего их эквивалентность оказывается неполной. Но можно подойти к делу и с другой стороны, рассматривая наблюдения над употреблением слов со значением времени суток как данные, свидетельствующие о различиях в восприятии разными народами членения суток на периоды. В последнем случае и оказывается возможным говорить о том, что языковые данные могут служить ключом к пониманию каких-то культурно значимых аспектов восприятия мира.

При этом особенно показательны нетривиальные семантические конфигурации, достаточно частотные в бытовом дискурсе (возможно, повторяющиеся в значении ряда слов) и относящиеся к неассертивным компонентам высказывания. Важно не то, что утверждают носители языка, а то, что они считают само собою разумеющимся, не видя необходимости специально останавливать на этом внимание. Так, часто цитируемая строка Гютчева *Умом Россию не понять* свидетельствует не столько о том, что в самооценке русских Россия является страной, которую трудно постичь, пользуясь лишь средствами рационального понимания (эта точка зрения неоднократно оспаривалась другими русскими авторами), сколько о том, что для русской языковой картины мира инструментом понимания является именно *ум*, а не, скажем, сердце, как для древнееврейской и арамейской картины мира (эта картина мира, в соответствии с которой «органом понимания» является именно *сердце*, представлена и в текстах на русском языке — а именно, в переводах Св. Писания, напр.: *да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем* — Ис. 6, 10; *Еще ли не понимаете и не разумеете? еще ли окаменено у вас сердце?* — Мк. 8, 17). Точно так же мы не можем делать вывод, что для русской языковой картины мира характерно представление, согласно которому чувство любви неподвластно воле человека и рациональным соображениям, на основании таких пословиц, как *Любовь зла, полюбит и козла*, или ходячего изречения *Сердцу не прикажешь*, — то, что прямо утверждается, всегда может быть оспорено (правда, эти высказывания дают основание для определенных выводов относительно некоторых других представлений, принимаемых в русской языковой картине мира как данность, напр. ‘козел менее всего достоин любви’ или ‘орган любви — сердце’).

Анализ русской лексики с указанной точки зрения позволяет выявить целый ряд мотивов, устойчиво повторяющихся в значении многих лингвоспецифичных и плохо поддающихся переводу русских лексических единиц и фразеологизмов, которые при этом, как правило, не попадают в ассертивный компонент высказывания. Сюда относятся, напр., следующие представления: ‘в жизни могут случаться непредвиденные вещи’ (*если что, в случае чего, вдруг*), но при этом ‘все равно все равно не предусмотритишь’ (*авось*); ‘чтобы сделать что-то, бывает необходимо мобилизовать внутренние ресурсы, а это не всегда легко’ (*неохота, собираться/собраться, выбраться*), но зато ‘человек, которому удалось мобилизовать внут-

ренние ресурсы, может сделать очень многое' (*заодно*); 'человеку нужно много места, чтобы чувствовать себя спокойно и хорошо' (*простор, даль, ширь, приволье, раздолье*), но 'необжитое пространство может приводить к душевному дискомфорту' (*неприкаянный, маяться, не находить себе места*); 'плохо, когда человек стремится к выгоде по каждому поводу; хорошо, когда он бескорыстен и даже нерасчетлив' (*мелочность, широта, размах*). Как кажется, многие из указанных представлений помогают понять некоторые важные черты русского видения мира и русской культуры.

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ

А. Д. Шмелев

ШИРОТА РУССКОЙ ДУШИ*

Словосочетание *широта русской души* стало почти клишированным, но смысл в него может вкладываться самый разный.

Прежде всего, *широта* — это само по себе название некоторого душевного качества, приписываемого русскому национальному характеру и родственного таким качествам, как хлебосольность и щедрость. *Широкий* человек — это человек, любящий *широкие* жесты, действующий с размахом и, может быть, даже живущий на *широкую* ногу¹. Иногда также употребляют выражение *человек широкой души*. Это щедрый и великодушный человек, не склонный *мелочиться*, готовый простить другим людям их мелкие проступки и прегрешения, не стремящийся «заработать», оказывая услугу. Его щедрость и хлебосольность иногда могут даже переходить в нерасчетливость и расточительность. Но существенно, что в системе этических оценок, свойственных русской языковой картине мира, *широта* в таком понимании — в целом положительное качество. Напротив того, *мелочность* безусловно осуждается, и сочетание *мелочный человек* звучит как приговор.

З а м е ч а н и е. Реже встречается иная, менее характерная интерпретация сочетания *человек широкой души*, когда его понимают как относящееся к человеку, которому свойственна терпимость, понимание возможности различных точек зрения на одно и то же явление, в том числе и не совпадающих с его собственной². Чаще в таком случае используют сочетание *человек широких взглядов* (впрочем, здесь есть и некоторое различие: *человек широких взглядов* — это человек прогрессивных воззрений, терпимый, готовый переносить инакомыслие, склонный к плюрализму, иногда, возможно, даже граничащему с беспринципностью, тогда как *человек широкой души* в рассматриваемом понимании — это человек, способный понять душу другого человека, а поняв, полюбить его таким, каков он есть, пусть не соглашаясь с ним). Данное понимание сочетания *человек широкой души* встречается относительно редко, чаще

* Опубликовано в книге «Логический анализ языка: Языки пространств». М., 2000 (сокращенный вариант статьи был ранее опубликован в журнале «Русская речь». 1998. № 1).

¹ «*Широта характера, размах решений*», — пишет А. Солженицын, перечисляя качества, отмечаемые наблюдателями в русском характере («Россия в обвале»).

² «*Отзывчивость, способность “всё понять”*», — перечисляет А. Солженицын в том же ряду «свойств русского характера» («Россия в обвале»).

оно говорит о щедрости, великодушии и размахе. Однако и *широта* в этом понимании также иногда приписывается «русскому характеру» (ср. характеристику русского народа, данную Достоевским: «широкий, всеоткрытый ум»).

Однако выражение *широта души* может интерпретироваться и иначе, обозначая тягу к крайностям, к экстремальным проявлениям какого бы то ни было качества. Эта тяга к крайностям (все или ничего), максимализм, отсутствие ограничений или сдерживающих тенденций часто признается одной из самых характерных черт, традиционно приписываемых русским³. Так, в статье В. А. Плунгяна и Е. В. Рахилиной, посвященной отражению в языке разного рода стереотипов, отмечается что именно «центробежность», отталкивание от середины, связь с идеей чрезмерности или безудержности и есть то единственное, что объединяет *щедрость* и *расхлябанность*, *хлебосолье* и *удаль*, *свинство* и *задушевность* — обозначения качеств, которые (в отличие, напр., от слова *аккуратность*) в языке легко сочетаются с эпитетом *русский* [Плунгян, Рахилина 1995: 340—351]. «Широк человек, я бы сузил», — говорил Митя Карамазов как раз по поводу соединения в «русском характере», казалось бы, несоединимых качеств. При этом каждое из качеств доходит до своего логического предела, как в стихотворении Алексея Толстого:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!

Отметим, кстати, что последние две строки говорят не только о тяге к крайностям (*широте* во втором понимании), но и собственно о *широте характера*: здесь и готовность понять и простить (*Коль простить, так всей душой*), и хлебосолье и размах (*Коли пир, так пир горой!*).

Наконец, о «*широте русской души*» иногда говорят и в связи с вопросом о возможном влиянии «широких русских пространств» на русский «национальный характер». Роль «русских пространств» в формировании «русского видения мира» отмечали многие авторы. Известно высказывание Чаадаева: «Мы лишь геологический продукт обширных пространств». У Н. А. Бердяева есть эссе, которое так и озаглавлено — «О власти пространств над русской душой». «Широк рус-

³ Ср., впрочем, мнение А. Солженицына, высказанное в книге «Россия в обвале»: «Не согласен я с множественным утверждением, что русскому характеру исключительно свойственен максимализм и экстремизм. Как раз напротив: большинство хочет только малого, скромного».

ский человек, широк как русская земля, как русские поля, — пишет Бердяев и продолжает: — В русском человеке нет узости европейского человека, концентрирующего свою энергию на небольшом пространстве души, нет этой расчётливости, экономии пространства и времени, интенсивности культуры. Власть шири над русской душой порождает целый ряд русских качеств и русских недостатков». В этом отрывке из Бердяева заметен отзвук известного высказывания Свидригайлова из «Преступления и наказания»: «Русские люди вообще широкие люди, Авдотья Романовна, широкие, как их земля, и чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному». О «власти пространств над русской душой» говорили и многие другие, напр.: «В Европе есть только одна страна, где можно понять по-настоящему, что такое пространство, — это Россия» (Гайто Газданов). «Первый факт русской истории — это русская равнина и ее безудержный разлив (...) отсюда неперевоодимость самого слова простор, окрашенного чувством мало понятным иностранцу...» — писал Владимир Вейдле, известный русский литературный критик и искусствовед. Целый ряд высказываний такого рода собран в хрестоматии Д. Н. и А. Н. Замятиных «Хрестоматия по географии России. Образ страны: пространства России» [Хрестоматия 1994].

Все названные выше факторы сплелись воедино и определяют причудливую «географию русской души» (выражение Н. А. Бердяева). Механизм влияния «широких русских пространств» на *широту* «национального характера» раскрывает Валерий Подорога: «Так, широта плоских равнин, низин и возвышенностей обретает устойчивый психомоторный эквивалент, аффект *широты*, и в нем как уже моральной форме располагаются определения русского характера: открытость, доброта, самопожертвование, удаль, склонность к крайностям и т. п.». И не удивительно, что эта «*широта* русской души» интересным образом отражается в русском языке и, в первую очередь, в особенностях его лексического состава. Русские слова и выражения, так или иначе связанные с *широтой* русского «национального характера», оказываются особенно трудными для перевода на иностранные языки.

Многие из слов, ярко отражающих специфику «русской ментальности» и соответствующих уникальным русским понятиям, — такие, как *тоска* или *удаль*, — как бы несут на себе печать «русских пространств». Недаром переход от «сердечной тоски» к «разгулю удалому» — это постоянная тема русского фольклора и русской литературы, и не случайно во всем этом «что-то слышится родное». Часто, желая *сплеснуть тоску с души*, человек как бы думает: «Пропади все пропадом», — и это воспринимается как специфически «русское» поведение, ср.: *Истинно по-русски пренебрег Павел Николаевич и недавними страхами, и запретами, и зароками, и только хотелось ему тоску с души сплеснуть да чувствовать теплоту* («Раковый корпус»). Именно «в метаниях от буйности к тоске» находит «безумствующее на русском языке» «сознание свихнувшейся эпохи» и поэт Игорь Губерман.

Склонность русских к *тоске* и *удали* неоднократно отмечалась иностранными наблюдателями и стала общим местом, хотя сами эти слова едва ли можно адекватно перевести на какой-либо иностранный язык. Характерно замечание, сделанное в статье «Что русскому здорово, то немцу — смерть» (Иностранец. 1996. № 17): «По отношению к русским все европейцы сконструировали достаточно двойственную мифологию, состоящую, с одной стороны, из историй о русских князьях, борзых, икре-водке, русской рулетке, неизмеримо широкой русской душе, меланхолии и безудержной отваге [выделено мною. — А. Ш.]; с другой же — из ГУЛАГа, жуткого мороза, лени, полной безответственности, рабства и воровства». Выражение *меланхолия и безудержная отвага*, конечно же, заменяет знакомые нам *тоску* и *удаль*; автор сознательно «остраняет» эти понятия, передавая тем самым их чуждость иностранцам и непереводаемость на иностранные языки.

На непереводаемость русского слова *тоска* и национальную специфичность обозначаемого им душевного состояния обращали внимание многие иностранцы, изучавшие русский язык (ср., напр., замечания Р.-М. Рильке об отличии *тоски* от состояния, обозначаемого немецким *Sehnsucht*⁴). Трудно даже объяснить человеку, незнакомому с тоскою, что это такое. Словарные определения («тяжелое, гнетущее чувство, душевная тревога», «гнетущая, томительная скука», «скука, уныние», «душевная тревога, соединенная с грустью; уныние») описывают душевные состояния, родственные *тоске*, но не тождественные ей. Пожалуй лучше всего для описания тоски подходят развернутые описания в духе Вежбицкой (ср. [Wierzbicka 1992a: 169—174]): *тоска* — это то, что испытывает человек, который чего-то хочет, но не знает точно, чего именно, и знает только, что это недостижимо. А когда объект тоски может быть установлен, это обычно что-то утраченное и сохранившееся лишь в смутных воспоминаниях: ср. *тоска по родине*, *тоска по ушедшим годам молодости*. В каком-то смысле всякая тоска могла бы быть метафорически представлена как тоска по небесному отечеству, по утраченному раю. Но, по-видимому, чувству тоски способствуют бескрайние русские

⁴ В письме от 28 июля 1901 г., адресованном А. Н. Бенуа и написанном по-немецки, Рильке, ощутив необходимость выразить смысл, содержащийся в русском *тоска*, перешел на русский язык, хотя владел им не в совершенстве (отсюда некоторые грамматические ошибки), и писал: «Я это не могу сказать по-немецки... (...) как трудно для меня, что я должен писать на том языке, в котором нет имени того чувства, который самое главное чувство моей жизни: тоска. Что это *Sehnsucht*? Нам надо глядеть в словарь, как переводить: “тоска”. Там разные слова можем найти, как напр.: “боязнь”, “сердечная боль”, все вплоть до “скуки”. Но Вы будете соглашаться, если скажу, что, по-моему, ни одно из десяти слов не дает смысл именно «тоски». И ведь, это потому, что немец вовсе не тоскует, и его *Sehnsucht* вовсе не то, а совсем другое сентиментальное состояние души, из которого никогда не выйдет ничего хорошего. Но из тоски родились величайшие художники, богатыри и чудотворцы русской земли».

пространства; именно при мысли об этих пространствах часто возникает *тоска*, и это нашло отражение в русской поэзии (*тоска бесконечных равнин* у Есенина или в стихотворении Леонарда Максимова: *Что мне делать, насквозь горожанину, с этой тоской пространства?*).

На связь тоски с «русскими просторами» указывали многие авторы. *Почему слышится и раздаётся немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня?* — спрашивал Гоголь, обращаясь к Руси из своего «прекрасного далека», именно эта «тоскливая» и одновременно «несущаяся по всей длине и ширине» песня была для него как бы символом России. Нередко чувство тоски обостряется во время длительного путешествия по необозримым просторам России (ср. понятие *дорожной тоски*); как сказано в уже цитированном стихотворении Максимова, *каждый поезд дальнего следования будит тоску просторов*.

Другое характерное русское слово — это *удаль*. Это слово называет качество, чем-то родственное таким качествам, как *смелость*, *храбрость*, *мужество*, *доблесть*, *отвага*, но все же совсем иное. Это хорошо почувствовал Фазиль Искандер, который писал:

Удаль. В этом слове ясно слышится — даль. Удаль — это такая отвага, которая требует для своего проявления пространства, дали.

В слове «мужество» — суровая необходимость, взвешенность наших действий, точнее, даже противодействий. Мужество от ума, от мужчинства. Мужчина, обдумав и осознав, что в тех или иных обстоятельствах жизни, защищая справедливость, необходимо проявить высокую стойкость, проявляет эту высокую стойкость, мужество. Мужество ограничено целью, цель продиктована совестью.

Удаль, безусловно, предполагает риск собственной жизнью, храбрость.

Но, взглядевшись в понятие «удаль», мы чувствуем, что это неполноценная храбрость. В ней есть самонакачка, опьянение. Если бы устраивались соревнования по мужеству, то удаль на эти соревнования нельзя было бы допускать, ибо удаль пришла бы, хватив допинга.

Удаль требует пространства, воздух пространства накачивает искусственной смелостью, пьянит. Опьяненному жизнь — копейка. Удаль — это паника, бегущая вперед. Удаль рубит налево и направо. Удаль — возможность рубить, все время удаляясь от места, где лежат порубленные тобой, чтобы не задумываться: а правильно ли я рубил?

А все-таки красивое слово: удаль! Утоляет тоску по безмыслию.

Действительно, человека, который не проявил достаточной удалы, мы не назовем *трусом* — скорее, скажем, что это *расчетливый* человек. Человек, который *смело* смотрит в лицо опасности или *мужественно* переносит страдания, не проявляет этим никакой *удалы*. Говоря о солдатах, которые *доблестно* или *отважно* встретили смерть, вступив в бой с превосходящими силами противника, употребить слово *удаль* тоже будет неуместно. Вообще это слово не употребляется, ко-

гда речь идет об *исполнении долга*. Оно оказывается уместным, когда речь идет о ком-то, кто действует вопреки всякому расчету, «очертя голову» и тем самым совершает поступки, которые были бы не по плечу другому. *Удаль* всегда предполагает *удачу* — здесь проявляется связь с глаголом *удаться*, к которому входят оба этих существительных.

Пытаясь объяснить или понять, что такое *удаль*, мы неизбежно сталкиваемся с некоторым парадоксом. Все попытки рационального объяснения *удали* заставляют признать, что в ней нет ничего особенно хорошего; во всяком случае, она не является таким превосходным качеством, как *мужество*, *смелость*, *храбрость*, *отвага*, *доблесть*. Именно это демонстрирует и приведенное выше рассуждение Ф. Искандера. В то же время слово *удаль* в русском языке обладает яркой положительной окраской. Типичное сочетание с этим словом — *удаль молодецкая*. Конечно, П. Вайль и А. Генис иронизируют, когда пишут об «идеальной гоголевской Руси» как о *грядущем царстве правды, добра и удали*, но сама возможность появления *удали* в этом ряду показательна.

По-видимому, существенный смысловой компонент слова *удаль* соответствует идее любования (впрочем, иногда речь, скорее, может идти о самолюбовании того, чьи поступки отличаются *удалью*). Говоря об *удали*, мы любимся тем, какие удалые действия может совершить человек, и уже это сообщает слову положительную окраску. Кроме того, для *удали* важна идея бескорыстия, *удаль* противостоит узкому корыстному расчету. Попробуйте объяснить, *зачем* надо проявлять *удаль*. Так, ни для чего, просто ради самой *удали*. Как курьер из детского рассказа С. Алексеева «Сторонись!», который любил лихую езду, как-то, мчась на санях, сшиб в снег самого Суворова, а через три дня, вручая Суворову бумаги из Петербурга, получил от него в награду перстень:

— За что, ваше сиятельство?! — поразился курьер.

— За удаль!

Стоит офицер, ничего понять не может, а Суворов опять:

— Бери, бери. Получай! За удаль. За русскую душу. За молодечество.

Пожалуй, самое типичное проявление *удали* — это и есть быстрая езда, которую, как известно, любит всякий русский. Образ мчащейся и «необгонимой» «птицы-тройки», косясь на которую, «постораниваются и дают ей дорогу» другие народы и государства, дает хорошее представление о том, что такое *удаль* и каково ассоциативное поле этого слова в русском языке. По-видимому, само слово (и понятие) *удаль* могло родиться только у бойкого народа, — и при этом у народа, привыкшего к широким пространствам. На то, что *удаль* возникла под влиянием широких пространств, со всей определенностью указывает Николай Федоров, говоря о географическом положении России: «простор (...) не мог развить упорства во внутренней борьбе, но развивал *удаль*, могущую иметь и иное приложение, а не одну борьбу с кочевниками».

Связь понятия *удали* с представлением о широких пространствах хорошо иллюстрирует и цитированный выше отрывок из Ф. Искандера. Он же дает понять,

каким образом удалые действия, совершаемые «от тоски», могут эту тоску хотя бы частично утолить. И с понятием удали связаны другие типично русские понятия и соответствующие им трудно переводимые слова, отражающие «широту русской души»: *размах*, *разгул*, а может быть, даже *загул* и *кураж*. Последнее слово интересно тем, что будучи прямым заимствованием из французского языка, оно коренным образом изменило свое значение. Если во французском языке *courage* значит просто смелость, то в русском оно как бы втянулось в поле русского «загула» и стало характеризовать некоторое развязное состояние, когда у человека нет никаких «внутренних тормозов» (самое характерное сочетание с этим словом — *пьяный кураж*).

По замечанию С. А. Старостина (в передаче корреспондента «Комсомольской правды»), наряду с *тоскою* и *удалью* к труднопереводимым русским словам, для которых отсутствуют эквиваленты в других языках, относятся слова *хохотать* и *хохот*. Слова «смеяться», «смех» есть в большинстве языков, а «хохота» нет. Едва ли в этом можно видеть влияние «широких пространств», но вот пристрастие к крайностям, к крайним проявлениям имеет место — «коли смех, так не просто смех, а *хохот*». При этом важно, что *хохот* и *хохотать* являются общеупотребительными русскими словами, обозначающими «здоровый смех», который не вызывает у говорящего неодобрения. Этим *хохотать* отличается от *гоготать*, а также от таких слов, как, напр., английское *guffaw* ‘гоготать, ржать’, которое иногда приводится в русско-английских словарях в качестве эквивалента слова *хохот*. В отличие от русских слов *хохот* и *хохотать*, глагол *guffaw* не является общеупотребительным словом и при этом включает оценочный компонент, указывающий на неодобрение такой «крайности», как несдержанный громкий смех.

Свойственное русскому языку представление о взаимоотношениях человека и общества, о месте человека в мире в целом, и в частности в социальной сфере, нашло отражение в синонимической паре *свобода*—*воля*. Эти слова часто воспринимаются как близкие синонимы. На самом деле, между ними имеются глубокие концептуальные различия. Если слово *свобода* в общем соответствует по смыслу своим западноевропейским аналогам, то в слове *воля* выражено специфически русское понятие. С исторической точки зрения, слово *воля* следовало бы сопоставлять не с его синонимом *свобода*, а со словом *мир* (ср. сопоставление мира и воли в историческом аспекте в [Топоров 1989]).

В современном русском языке слово *мир* соответствует целому ряду значений (‘отсутствие войны’, ‘вселенная’, ‘сельская община’ и т. д.). Однако все указанное многообразие значений исторически можно рассматривать как модификацию некоего исходного значения, которое мы могли бы истолковать как ‘гармония; обустройство; порядок’ (ср. устное замечание Т. В. Топоровой об объединении значений ‘мирная жизнь’ и ‘вселенная’ в ряде германских языков)⁵. Вселенная

⁵ Ср. также наблюдение Ю. С. Степанова: «...соединение двух рядов представлений — “Вселенная, внешний мир” и “Согласие между людьми, мирная жизнь” — в